

Алла Демидова

ТУРНЕСОЛЬ

При советской власти именитым творческим людям разрешили построить дачный кооператив. Постановили строить четырехэтажный дом на восемьдесят одинаковых квартир. Место для дома выбирал Иннокентий Михайлович Смоктуновский, и поскольку он любил поляны, то выбрал для строительства этого дома чистое место, где небольшая речка впадает в Икшинское водохранилище. Место прекрасное! Смоктуновский, по всей вероятности, любил простор. Его квартира в нашем доме была на четвертом этаже, и он со своего балкона, как капитан с палубы большого корабля, обозревал дали неоглядные. По водохранилищу плыли разнообразные средства передвижения: пароходы, катера и лодки. Причем я потом заметила, что двухпалубные пароходы имели названия “Есенин”, “Блок” или “Ахматова”; трехпалубные — “Толстой”, “Торький”, четырехпалубные — например, “XIV партконференция”. У нас были или бинокли, или подзорные трубы, и потом к ним мы так привыкли,

что уже на глаз определяли имя проходящего парохода. А когда после перестройки всё было переименовано, проходит какая-нибудь бывшая “XIV партконференция”, я достаю бинокль и вижу новое название — *LENIN*.

А про любовь к полянам мне потом Смоктуновский говорил: “У каждого человека есть поляна детства. Огромная, красивая. Она дает ощущение общности, на ней ведь невозможно затеряться. Человек — маленький, а на поляне он сам по себе, он ощущает себя и в то же время не одинок. У нас под Красноярском, где я жил в детстве, была такая поляна, загадочная, с голосами неведомых птиц, с извилистой речкой, по вечерам там кричали лягушки. С одной стороны — огромная гора, на которой было кладбище, с другой стороны — такая же гора, где стоял белоснежный храм. И если есть истоки, корни духовности, они у меня там — на моей детской поляне...” Вот поэтому Иннокентий Михайлович и выбрал для нашего дома такую поляну. Горы и храма не было, но были с одной стороны лес, а с другой — огромное колхозное поле. Дом долго строили, и наконец в него перебрались все! Николай Крючков, Рязанов, Кулиш, Таривердиев, Чурикова с Панфиловым, Лиознова и т. д. — художники, композиторы, критики и актеры. Из окна видишь перед собой только поле и за ним голубую гладь водохранилища, а на другом берегу — лес и затерянную в деревьях какую-то деревеньку. Просто хрестоматия! Картинка из букваря. На первом же совместном собрании постановили: по полю не ходить, ничего не копать и не нарушать этот первозданный вид. У меня была квартира на первом этаже, что особенно приближало к земле. Когда сидишь на балконе, кажется, что ты одна на своей даче. Как-то ночью мой любимый кот Вася перепрыгнул через перила и скрылся во мгле. Я вышла в лоджию и стала тихо звать: “Вася, Васенька!” И вдруг с соседнего балкона слы-

шу: “Алла, я здесь!” Это оказался мой сосед Василий Васильевич Катанян — с ним и его женой Инной Юльевной Генс мы подружились. Собственно, мы все знали друг друга, но, чтобы не нарушать уединения, можно, по общей договоренности, если не встречаться глазами, даже не здороваться или просто улыбнуться друг другу.

Через какое-то время в центре нашего поля Иннокентий Михайлович Смоктуновский начал что-то копать. Люди в доме интеллигентные — молча стали наблюдать, что же там вырастет. А в то лето всё поле цвело ромашками, и, конечно, вторгаться в белое пространство было жалко. К середине лета в центре ромашкового царства стало что-то быстро расти и подниматься. Какая-то палка, которая наконец распускается большим желтым подсолнухом. Огромным. Он несколько нарушал горизонтальный ландшафт нашего пространства, и, когда мы сидели на балконе и любовались прекрасными летними закатами, мой приятель, художник Дима Шушкалов, всегда заслонял этот подсолнух рукой. А Нея Марковна Зоркая — кинокритик с мировым именем, которая тоже жила в этом доме, недовольно ворчала: “Это всё ваши актерские замашки, Алла Сергеевна, обязательно у всех на виду, в центре поля.. ” На очередном кооперативном собрании разразился скандал — люди все творческие, эмоциональные, кричали, что не хотят видеть эту железнодорожную клумбу имени Смоктуновского. А Эмиль Брагинский, немного картавя, добавлял, что он хочет видеть “дикую природу”. И снова постановили: по полю не ходить, ничего не сажать, не портить хрестоматийную красоту пейзажа. На следующее утро Иннокентий Михайлович, как ни в чем не бывало, спокойно окучивал свою клумбу в форме буквы S, а я со своего первого этажа подавала ему воду для поливки, за что в награду получала то горшочек необыкновенных голубых цветов, то корзинку со

стручками зеленого горошка, который очень люблю, или лозу дикого винограда. А Дима Шушкалов стал писать картину: на фоне ромашкового поля стоит Иннокентий Михайлович с глазами врубелевского Пана, в своих неизменных летних шортах, в выцветшей от солнца майке, с перекинутым через плечо полотенцем после купания, а рядом с ним огромный подсолнух. На каких-то съемках я пересказываю эту картину Смоктуновскому.

— Алла, дорогая, какой стыд! Что же вы мне раньше не сказали, что художник заслонил рукой мой подсолнух. Я бы его с корнем вырвал!

— Ну что вы, это было так прекрасно и символично: на однообразном фоне ромашкового поля нашей актерской братии вырастает подсолнух — та же ромашка, но большая и иначе окрашенная, как и вы, дорогой Иннокентий Михайлович!

У него светлеют глаза, и уже совсем по-детски:

— Как вы сказали? На однообразном фоне?.. Один.. Какой прекрасный образ! Какой точный и прекрасный образ! В следующем году я там посажу два подсолнуха — будем вместе раздражать!

На следующее лето ромашек на поле не было, всё заполонил красный клевер. Так природа нас удивляла. Смоктуновский продолжал ухаживать за своим наделом, и я со страхом ждала этого диссонанса — на красном фоне два желтых подсолнуха. Ужас!

Но посередине ухоженной клумбы Смоктуновского расцвел один большой красный мак. Один. Еще через год всё поле было белесое в каких-то неизвестных мне мелких полевых цветочках, а посередине клумбы возвышалась большая прекрасная белая лилия.

Семена Иннокентий Михайлович привозил из дальних стран, поэтому на его клумбах и его балконе всегда цвело что-нибудь удивительное. Иннокентий Михайлович нас всех

этим заразил, и мы стали потихоньку на другой стороне дома копать маленькие грядки — кто с цветами, кто с помидорами. На одной даже выросли артишоки. Мою грядку мне помогал копать сам Смоктуновский, и хотя поделился своими семенами, ничего путного у меня не выросло.

Очень любовно ухаживала за своим маленьким огородом Зара Агасьевна Долуханова. Как-то мы возвращались с Неей Зоркой из леса с грибами и в дверях встретили Зару, только что вернувшуюся из Парижа. Как всегда, ухоженную, с прекрасным макияжем и наклеенными ресницами. Нея сразу же на нее налетела: “Ну как там Париж? Какие новые оперы в Опера Бастилии?” — “Ужасно, ужасно, Неечка, катастрофа! Все мои кабачки померзли!”

Мы с Неей любили всем присваивать новые имена: бледную поганку, например, мы называли только “аманита вероза”; три дерева на краю нашего поля — “три сестры”, потому что одно было большое, пышное — это, конечно, “Ольга”, рядом тонкое молодое деревце — “Ирина”, а чуть поодаль пышная хвоя — “Маша”; или тропинку вдоль нашей речки мы прозвали “Камбоджей”, потому что там было всегда сыро, а соседний молодой лесок мы называли “Гертрудой” (герой труда), потому что там всегда были грибы. И конечно, нашего дорогого Иннокентия Михайловича мы между собой называли Турнесолем, что, как известно, на французском значит “подсолнух”. Сейчас в доме живут другие люди, клумба Смоктуновского не сохранилась, хотя его дочь Маша старается каждую весну ее оживить. А всё поле в высокой траве со случайными полевыми цветами. Через поле вытоптана тропинка от дома до речки, чтобы ближе идти купаться. Грядки разрослись, у некоторых даже вырастают парниковые огурцы. Но как мне жалко, подъезжая к дому, не видеть на берегу нашего знаменитого рыбака Николая Афанасьевича

Крючкова в неизменном черном пиджаке с золотой звездой на лацкане, возвращающегося из леса с прогулки с только что вырезанной большой красивой палкой Владимира Этуша (он переехал в отдельную дачу). Что нельзя уже посмотреть какое-нибудь классное заграничное кино у Васи Катаняна, не встретить идущую по берегу Инну Чурикову с прижатым к груди очередным сценарием (они с Панфиловым тоже перебрались в отдельный дом). Не увидеть Таривердиева, ловящего ветер парусом серфинга, и уже невозможно зайти под Новый год к Швейцерам, где всегда тебя вкусно накормят.

Гузель Яхина

САД НА ГРАНИЦЕ, или САД “РУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ”

Мы шныряем между миров, как мыши. Прострачиваем пространство. Сшиваем время, чтобы не развалилось. Город у нас такой: границы и переходы — частой сетью, поверх карты. Русская Казань — и татарская. Каменная — и деревянная. А тут — немецкая. Городская и деревенская. Речная и нагорная. Советская... Граница — никогда не пропасть, не забор, не занавес. Всегда — шов, стык, мосток. Так и живем: туда-сюда, прыг-скок, стежок за стежком.

Фехтованием я занимаюсь в кирхе Святой Екатерины. Пирожками перекусываю во Введенской церкви, их там отменно жарят. В мечеть Нурулла, что у Сенного базара, забегаю по дороге в институт и учу немецкий; в начале девяностых мечети пахнут свежим ремонтом и стоят пустые, можно уютно устроиться где-нибудь поближе к михрабу и зубрить: *geben* — *ging* — *gegangen...*

А в некоторых местах границы наслаиваются, пространство сгущается — как здесь, у входа в городской парк (имени, конечно, Максима Горького), где мы и стоим с Тимуром.

— Кандалы им сбивали прямо здесь! — кричит он. — Сюда шли — звенели цепями, от самого Петербурга — со всей России каторжане! А отсюда, с Сибирской заставы, — тихо шагали, шепотом. Это была — граница! Не только городская окраина, а и всей страны — край! Отсюда не убежишь! А куда?! Всё, амба! Добро пожаловать в Сибирь!

Нам — по шестнадцать. Вообще-то мы шли в парк целоваться. Звякает трамвай, делает вокруг нас медленный круг и уезжает обратно по маршруту — вдоль Сибирского тракта, на восток.

От Казани до Уральского хребта — восемьсот км, ровно как и до Москвы. В детстве это казалось очень странным: я всегда чувствовала почти осязаемую близость Сибири и бесконечную удаленность столицы. Сибирь — это названия с родным, похожим на тюркское звучанием: Енисей, Байкал, Сургут, Курган; бабушка, шестнадцать лет прожившая на Ангаре в кулацкой ссылке; та же буреломная тайга, что вблизи Казани, в Марийском крае. А Москва? Всего лишь пахнувший типографской краской Кремль в букваре да черно-белые картинки в телевизоре. Сибирь — вещное, свое; Москва — абстрактное, чужое. По моему внутреннему ощущению, Сибирь должна была начинаться где-то рядом, возможно, как раз у Парка Горького. Ну или парой трамвайных остановок дальше, вниз по тракту.

То, что “великий кандальный” шел через город, никого не смущало: привыкли — полтора миллиона мимо протопало: тут тебе и Радищев, и декабристы, и Герцен, и Достоевский с Плещеевым, и Чернышевский, и матросы с “Потемкина”. А ты не балуй — не преступай!.. Иностранцы были более чувствительны — впечатленный трагическими картинами Сибирской за-

ставы немецкий писатель и путешественник Иоганн Шницлер написал о ней словами Данте: “Мы видели тот предел пути, у которого воображение ставит надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий!»”.

Представляю: сбивает усталый кузнец колодки с разодранных в кровь ног очередного каторжанина, уныло лязгает железо — ляц! ляц! — а из-за ограды парка несется смех девичий, оркестр наяривает — тубы, трубы, тромбоны... В девятнадцатом веке он звался не парк — сад. И имя носил не чета советскому, на дореволюционных картах так и обозначен: “Сад Русская Швейцария”.

Могучие, покрытые пышной зеленью холмы, причудливые овраги, крутой изгиб реки сквозь еловые ветви блестит — и правда, чем не милая русской душе альпийская заграница? В “Семейных хрониках и воспоминаниях” Аксаков описывает, как гимназистами они ловили в этой дикой местности бабочек и заодно окрестили ее Швейцарией. Название прижилось. И вот уже губернатор Шипов выбирает холмы местом своей летней резиденции, за ним подтягивается казанский бомонд, дорожки-беседки, столики-скамейки, благородные гипсовые статуи, рестораны-кондитерские, кабаки-трактиры, шалманы-балаганы, механический театр, эстрада с шансонетками, цирк шапито с гуттаперчевыми акробатами, тараканьи бега и широко рекламируемые почтенной публике собачьи концерты! Как говорится, хоть и Швейцария, а всё ж — наша, рассейская!

Следом поспевают немецкая профессура (а ее в городе со времен основания Казанского университета было немало) — заселяет еще пару холмов. Раньше они назывались по-простому — Скотскими, а теперь — Швейцарией Немецкой. В этой части сада, в отличие от русской, всё чинно и очень respectfully. Можно расслышать, как журчат меж аккуратных дачных

домиков облагороженные заботливой германской рукой ручки. *Das ist aber schön**.

Так и живут они рядом — два разных мира с общей границей, одной оградой и одним названием на двоих. Там, за пределами сада, пусть остаются грязь немощеных улиц, туберкулезная сырость татарских слобод, заболоченные и полные нечистот городские озера, нищие, калики, клопы, комары, каторжане с их колодками и кандалами... Здесь ничего этого нет. Здесь — только радость, жизнь, вечный праздник. Здесь — Швейцария. Белые кружевные заборы неприступны и нерушимы, как государственная граница. Так кажется тем, кто внутри.

Здесь в тридцать третьем году позапрошлого века любитесь липами титулярный советник, камер-юнкер Двора императорского величества Александр Пушкин — испросил отпуск и приехал в Казань собирать материалы для “Истории пугачевского бунта”. Разлапистые липы в саду помнят самого Пугачева — как раз в этих местах стояла полвека назад перед штурмом Казани армия неудавшегося “императора-освободителя всея Руси”. Город он возьмет и разорит, а через пару месяцев у стен Казанского кремля предъявят его портрет — пойманного, с тусклыми глазами, в цепях, — и сожгут.

Здесь гуляет тенистыми аллеями пятнадцатилетняя Вера Фигнер, будущая российская террористка и революционерка, а пока — воспитанница Родионовского института благородных девиц, что на западной границе сада. Скоро из казанской она отправится в Швейцарию настоящую, заразится там идеями народничества; затем последуют покушения на Александра II, его убийство, аресты и ссылки — до семнадцатого года, всенародная слава и персональная пожизненная пенсия — после. Удивитель-

но, но до конца жизни она так и не приняла Революцию, строила Советскому правительству письма с просьбой прекратить репрессии, а то лишь терпеливо прятало ее обращения в архив и увеличивало пенсию, увеличивало...

Здесь подрабатывает пением на театральных подмостках юный и еще очень бедный Шаляпин. Бродит в редкие свободные часы еще более юный и еще более бедный Алеша Пешков — вот уж кто не мог предположить, что через пару десятков лет сад назовут его именем! Кстати, стрелял в себя он тоже неподалеку, у подножия швейцарских гор, в Подлужной слободе...

Мы с Тимуром бредем по бесконечной центральной аллее. Тени великих — следом. Ощущать их присутствие странно и весело. Каково им здесь — между плакатов “Миру — мир!”, крытых серебрянкой фигурок пионеров с горнами и стадионом “Трудовые резервы”?

Советским парком Русская Швейцария стала в тридцать шестом, когда было принято решение о ее переименовании, — со всей причитающейся атрибутикой, строго по списку: колесо обозрения, карусели-лошадки, девушка с веслом, кафе-мороженое, эстрада-ракушка (кстати, с превосходной акустикой), наглядные средства идеологической агитации. После войны к стандартному перечню добавился деревянный кинотеатр; строили его пленные немцы. Своих немцев в городе к тому времени осталось мало. Имя “Немецкая Швейцария” по известным причинам исчезло с карт, а территория ее пришла в запустение.

И это было правильно, даже необходимо. На южной границе бывшего сада располагался объект, который к тому времени приобрел очень важное для страны значение. Заросшие бурьяном просторы исчезнувшей Немецкой Швейцарии составляли ему гораздо более подходящее окружение: полоса отчуждения словно многократно расширяла границы объекта, мрачного ка-

менного городка в кольце неприступных стен. Назывался он — психиатрическая лечебница.

Клиника для душевнобольных во имя Всех Скорбящих была открыта в Казани в середине позапрошлого века. С самого начала определяли сюда контингент, невозддержанный в помыслах, не чуявший берегов, бунтарский: революционеров и народовольцев. Лечили принудительно: смирительные рубашки, электросудороги, старая надежная “укрутка” влажной парусиной. Это уж как повезет: кому в “доме скорби” спеленатым лежать, в окошко под потолком выть, а кому — под этими же окошками по “дороге скорби” на восток шагать, по этапам (лечебница лежала аккумулятор между Немецкой Швейцарией и Сибирским трактом).

В тридцать девятом по указанию Берии один из корпусов был передан в прямое распоряжение НКВД, и стала клиника называться без обиняков: тюремная психиатрическая больница. Принимала по-прежнему всё больше политических: Андрей Туполев, Лев Галлер, Порфирий Иванов, Валерия Новодворская, Наталья Горбаневская...

Редкие отдыхающие добредали из парка культуры и отдыха до пределов этого каменного городка. Незачем: не было здесь ни культуры, ни отдыха, одни лишь пустынные холмы, к которым постепенно возвращалось старое название — Скотские. Уныло.

А в самом парке было весело: аттракционы, картинг, мороженое (молочное — десять копеек, сливочное — пятнадцать, пломбир — двадцать). Концерты на открытой эстраде по выходным — летом. Прокат лыж — зимой.

В этом парке и прошло мое счастливое советское детство. Мы, жившие неподалеку дети, бежали сюда в любой свободный час. Мы здесь были — хозяйева. Мы были — *парковые*. Мы не признавали границ и торных троп — прокладывали по холмам

свои пути, вдоль и поперек мощеных дорожек, просачивались во все щели и дырки в заборах, проникали всюду. Это была территория, свободная от родителей, учителей и пионерских вожатых. Территория самой свободы.

На пугачевских липах мы сооружали тайные убежища. На прогалинах бывшей Немецкой Швейцарии жгли костры. В еловых дуплах устраивали почтовые ящики. Пели, сидя на деревьях. Лазали по оврагам, собирая всякий хлам, — искали становища первобытного человека (поволжье богато на археологические сокровища, одних только мамонтов найдено целое стадо; и где-то здесь, на этих холмах, еще до революции обнаружили остатки поселения волосовцев — далеких предков финно-язычных народов...).

Мы любили этот парк настоящей взрослой любовью — со всеми его несуразностями и некрасивостями. И даже жутковатую парковую скульптуру любили — уродливые фигуры позднего советского периода: дебелий Иван-дурак с могучими ногами-тумбами в перетяжках лаптей; щуплый Конек-Горбунок, похожий на карликовую собачку со стрижкой каре; доктор Айболит с окладистой бородой, в кругляше медицинской шапочки, неумолимо сцепивший сильные хирургические объяття на шее беззащитного животного кошачьей породы (метко прозванный в народе: Карл Маркс, отрывающий голову тигру).

Не пугала нас и старая замшелая ограда, в которой гостеприимно зияли многочисленные дыры; задумавшись, можно было незаметно для самого себя оказаться внутри Арского кладбища. Это казалось нам естественным: тишина могил рядом с шумным весельем парковой жизни. Граница — размыта, неопределенна: шагая по узким кладбищенским тропкам, ты еще слышишь чей-то визг с чертова колеса, сладкоголосье народных певиц из репродукторов...

Основано кладбище было согласно указу Екатерины Второй. Когда русские солдаты вместе с победой привезли с турецкого фронта смертельные палочки *Yersinia pestis*, в России вспыхнула эпидемия чумы, а следом и чумной бунт. Для подавления обеих зараз царица-матушка с немецкой мудростью приказала отделить живых от мертвых — вынести все кладбища за пределы городов. Сюда, на пустынное тогда еще Арское поле, и было решено отправлять усопших.

Вот оно, царство идеи равенства — все лежат рядом, плечом к плечу: православные, старообрядцы, лютеране, католики и иудеи; начиная с советского времени — и татары.

Композитор Жиганов. Математик Чеботарев и химик Арбузов. Василий Джугашвили, сын. Бренинги. Лобачевский — не понятый современниками автор “воображаемой геометрии”, первооткрыватель пространства постоянной кривизны, где начерченная твердым карандашом разделяющая линия теряет смысл, потому что разъединенные части пространства в конечном итоге всё равно соприкоснутся...

Гулять между заросших могил не страшно: советские дети твердо знают, что привидений не существует. Для нас Арское кладбище — просто часть парка, один из множества составляющих его мирков.

А в конце восьмидесятых парк стал ветшать. Выцвели галстуки улыбчивых пионеров на плакатах, морщинами трещин покрылись статуи, высохли фонтаны, остановилась навеки канатная дорога: гирлянда красных и синих кабинок в рыжих пятнах ржавчины теперь торжественно и недвижимо висела над холмами, над суетящимися внизу людьми и собаками, спешащими машинами и велосипедами и только в самые сильные ветры нехотя, со скрипом, покачивалась...

В этом медленном и достойном угасании была своя красота. Девяностые сыпанули перца в сонный пейзаж, привнесли нотку веселого безумия, оттенок сюрреализма.

Собаки-фламинго — встретим ли мы их сегодня с Тимуром? В парке обитает внушительная стая бездомных псов, разного калибра и экстерьера. Объединяет их одно: каждую зиму их белая шерсть приобретает интенсивный розовый оттенок. Вероятно, красят местные бомжи. Никто не знает зачем. Но когда розовая стая, взметая снег, стремительно летит по сугробам, у лыжников перехватывает дыхание. К лету дерзкий окрас бледнеет, к осени сходит на нет, чтобы к первому снегу опять вспыхнуть зарей.

И покажется ли сегодня Женщина, которая поет? Она всегда возникает внезапно. Вернее, сначала появляется голос — сопрано, мощное и выразительное, накатывает из-за поворота, заливает округу, легко заглушает несущиеся из столбовых репродукторов хилые песенки. Следом выплывает хозяйка — маленькая, в замызганной кофте или бесформенном пуховике в зависимости от времени года, в лохматом нимбе неизменно распущенных волос. Глаза ее горят вдохновением, яростным и чистым; ноги легко шагают — по траве, по грязи, по сугробам — возможно, даже не оставляя следов. Она поет — всегда. Из ее уст мы впервые слышим самые известные арии: Чио-Чио-Сан, Кармен, Джульетта, фаустовская Маргарита, Наташа Ростова, Шамаханская царица. Для нас она — неотъемлемая часть паркового ландшафта, такая же, как обшарпанные скамейки с гнутыми спинками или фонтанчики с питьевой водой. Нам кажется, что это в порядке вещей: утолять жажду — водой, усталость ног — кратким отдыхом, а грусть — прекрасными мелодиями.

Мне всегда было любопытно: блуждая по парку, забредает ли она за кладбищенскую ограду? Или поет только нам, живым? А еще: откуда она приходит — из обычной квартиры или всё